

«НИКТО НЕ ЗАБЫТ,
И НИЧТО НЕ
ЗАБЫТО»

ИЗ
ДНЕВНИКОВ
1939–1942
ГОДОВ

Забвение истории своей Родины, страданий своей Родины, своих лучших болей и радостей, — связанных с ней испытаний души, — тяжчайший грех. Недаром в древности говорили: — Если забуду тебя, Иерусалиме...

О. Берггольц. Из подготовительных записей ко второй части «Дневных звезд»

15/VII-39

13 декабря 1938 г. меня арестовали, 3 июля 39-го, вечером, я была освобождена и вышла из тюрьмы. Я провела в тюрьме 171 день. Я страстно мечтала о том, как я буду плакать, увидев Колю и родных, — и не пролила ни одной слезы. Я нередко думала и чувствовала там, что выйду на волю только затем, чтобы умереть, — но я живу... подкрасила брови, мажу губы...

Я еще не вернулась оттуда, очевидно, еще не поняла всего...

4/IX-39

Все еще почти каждую ночь снятся тюрьма, арест, допросы. (Отнесла стихи в «Известия», составила книжку

«НИКТО НЕ ЗАБЫТ, И НИЧТО НЕ ЗАБЫТО»

стихов. «Да, взлета, колодца — все еще нет, да и будет ли он у меня?»)»

21/IX-39

Тупость проходит понемногу-понемногу. Но все еще пресно. Хочется абсолютного одиночества, потому что в нем можно хотя бы думать, но донимают приятельницы, надо же поговорить с ними, хоть чувствую от этого свою неискренность и сухость. Много по ночам с Колей о жизни, о религии, о нашем строе. Интересные и горькие мысли. Это, вероятно, приходит человеческая зрелость, ну, а потом, что? Не знаю. Пока все, практически, остается так же неизбежно, как и было. И уже, очевидно, не сможет стать иным или иначе.

А мне не страшно, никаких мыслей; как было страшно, скажем, три года назад... Нет, не должен человек бояться никакой своей мысли. Только тут абсолютная свобода. Если же и там ее нет — значит, ничего нет.

15/X-39

Да, я еще не вернулась оттуда. Оставаясь одна дома, я вслух говорю со следователем, с комиссией, с людьми — о тюрьме, о постыдном, состряпанном «моем деле». Все отзывается тюрьмой — стихи, события, разговоры с людьми. Она стоит между мной и жизнью...

6/XI-39, 2 ч. ночи

Завтра 22 года Октябрьской революции.

Я приветствую вас, Мария Рымшан, Ольга Абрамова, Настасья Мироновна Плотникова, Елена Иванова, Женя Шабурашвили — коммунистки, беспартийные честные товарищи, сидящие или не сидящие в камерах Арсеналки и Шпалерки!

Я с вами сейчас, родные мои товарищи. Я рыдаю о вас, я верю вам, я жажду вашей свободы, восстановления вашей чести.

Товарищи, родные мои, прекрасные мои товарищи, все, кого знаю и кого не знаю, все, кто ни за что томится сейчас в тюрьмах в Советской стране, о, если б знать, что это мое обращение могло помочь вам, отдала бы вам всю жизнь!

Я с вами, товарищи, я с вами, я с вами, бойцы интернациональных бригад, томящиеся в концлагерях Франции. Я с вами, все честные и простые люди: вас миллионы, тех, кто честно и прямо любит Родину, с поднятой головой и открытыми устами!

Я буду полна вами завтра, послезавтра, всегда, я буду прямой и честной, я буду до гроба верна мечте нашей — великому делу Ленина, как бы трудна она ни была! Уже нет обратного пути.

Я с вами, товарищи, я с вами!

14/XII-39

Ровно год тому назад я была арестована.

Ощущение тюрьмы сейчас, после 5 месяцев воли, возникает во мне острее, чем в первое время после освобождения.

И именно ощущение, т. е. не только реально чувствую, обоняю этот тяжкий запах коридора из тюрьмы в «Б<ольшой> дом», запах рыбы, сырости, лука, стук шагов по лестнице, но и то смешанное состояние посторонней заинтересованности, страха, неестественного спокойствия и обреченности, безвыходности, с которыми шла на допросы.

...Да, но зачем все-таки подвергали меня все той же муке?! Зачем были те дикие, полубредовые желто-красные ночи (желтый свет лампочек, красные матрасы, стук отопительных трубах, голуби)?

И это безмерное, безграничное, дикое человеческое страдание, в котором тонуло мое страдание, расширяясь до безумия, до раздавленности?

«НИКТО НЕ ЗАБЫТ, И НИЧТО НЕ ЗАБЫТО»

Вынули душу, копались в ней вонючими пальцами, плевали в нее, гадили, потом сунули ее обратно и говорят: «Живи». Произошло то же, что в щемящей щедринской сказке «Приключения с Крамольниковым»: «Он понял, что все оставалось по-прежнему, — только душа у него „запечатана“».

«Но когда он хотел продолжать начатую работу, то сразу убедился, что, действительно, ему предстоит провести черту и под нею написать: „не нужно“».

Со мною это и так, и все-таки не так. Вот за это-то «не так» я и хватаюсь. Действительно, как же я буду писать роман о нашем поколении, о становлении его сознания к моменту его зрелости, роман о субъекте эпохи, о субъекте его сознания, когда это сознание после тюрьмы потерпело такие погромы, вышло из дотюремного равновесия?

Все или почти все до тюрьмы казалось ясным: все было уложено в стройную систему, а теперь все перебуравлено, многое поменялось местами, многое переоценено.

А может быть, это и есть настоящая зрелость? Может быть, и не нужна «система»? Может быть, раздробленность такая появилась оттого, что слишком стройной была система, слишком неприкосновенны фетиши и сама система была системой фетишей? Остается путь, остается история, остается наша молодость, наши искания, наша вера — все остается. Ну, а вывод-то какой мне сделать — в романе, чему учить людей-то? Экклезиастическому «так было — так будет»? Просто дать ряд картин, цепь размышлений по разным поводам — и всё? А общая идея? А как же писать о субъекте сознания, выключив самое главное — последние два-три года, т. е. тюрьму? Вот и выходит, что «без тюрьмы» нельзя и с «тюрьмой» нельзя... уже по причинам «запечатанности». А последние годы — самое сильное, самое

трагичное, что прожило наше поколение, я же не только по себе это знаю.

Ну ладно. Кончу — обязательно к Новому году, кончу правку истории и возьмусь только за художественное, и буду писать так, как будто бы решительно все и обо всем можно писать, с открытой душой, сорвав «печати», безжалостно и прямо, буду пока писать то, что обдумала до тюрьмы (включая человечность, приобретенную мною там, и осмысляя наш путь по-взрослому), а там видно будет, к концу...

Да, но вот год назад я сначала сидела в «медвежатнике» у мерзкого Кудрявцева, потом металась по матрасу возле уборной — раздавленная, заплеванная, оторванная от близких, с реальной перспективой каторги и тюрьмы на много лет, а сегодня я дома, за своим столом, рядом с Колей (это главное!), и я — уважаемый человек на заводе, пропагандист, я буду делать доклад о Сталине, я печатаюсь, меня как будто уважает и любит много людей... (Это хорошо все, но не главное.)

Значит, я победитель?

Ровно год назад К<удрявцев> говорил мне: «Ваши преступления, вы — преступница, двурушница, враг народа, вам никогда не увидеть мужа, ни дома, вас уже давно выгнали из партии».

Сегодня — все наоборот.

Значит, я — победитель? О нет!

Нет, хотя я не хочу признать себя и побежденной. Еще, все еще не хочу. Я внутренне раздавлена тюрьмой, такого признания я не могу сделать, несмотря на все бремя в душе и сознании.

Я покалечена, сильно покалечена, но, кажется, не раздавлена. Вот на днях меня будут утверждать на парткоме. О, как страстно хочется мне сказать: «Родные товарищи! Я видела, слышала и пережила в тюрьме то-то, то-то и то-то... Это не изменило моего отношения к нашим

идеям и к нашей родине и партии. По-прежнему, и даже в еще большей мере, готова я отдать им все свои силы. Но все, что открылось мне, болит и горит во мне, как отравва. Мне непонятно то-то и то-то. Мне отвратительно то-то. Такие-то вот вещи кажутся мне неправильными. Вот я вся перед вами — со всей болью, со всеми недоумениями своими». Но этого делать нельзя. Это было бы идеализмом. Что они объяснят? Будет — исключение, осуждение <...> и, вероятнее всего, опять тюрьма.

О, как это страшно и больно! Я говорю себе — нет, довольно, довольно! Пора перестать мучиться химерами! Кому это нужно, твои лирические признания о боли, недоумениях и прочее? Ведь Программу и Устав душою разделяешь полностью? Ведь все поручения стремишься выполнить как можно лучше? Последствия тюремного отравления не сказываются на твоей практической работе, наоборот, я стараюсь быть еще добросовестнее, чем раньше. (Не оттого ли, что стремлюсь заглушить отравление?) Так в чем же дело?

23/XII-39

...Степка не шевелится. Это удручает меня. Неужели опять — авария? Я знаю, что это почти безрассудно — заводить сейчас ребенка: война, болезнь Коли, материальная необеспеченность, а сколько будет забот, и тревог, и быта! Но я рвусь к этому как к спасательному кругу: мне кажется, что тот, кто должен был появиться, как-то примирит нас с жизнью, наполнит ее важным, действительным смыслом.

Я говорю о действительном, вечном, не зависимом от «вражды или близости с Наполеоном», смысле.

Недействительный смысл есть, но этого для жизни мало. Вот 21 декабря я выступала на собрании о Сталине, выступала неплохо, потому что готовилась к докладу очень добросовестно, потом прочитала свой стишок

о Сталине. Гром аплодисментов, все были очень довольны и т. д. Ровно год назад я читала этот стишок в тюрьме, будучи оплеванной, низведенной на самую низшую ступень, на самое дно нашего общества, на степень «врага народа» ...Как этот слабый стишок там любили! Плакали, когда я дочитывала до конца, и сама я так волновалась, когда читала... Пока не стала думать: «Твоя вина!» Но даже думая так о нем, не могла без волнения читать, я доклады делала с волнением, искренне. Где, когда, почему мы выскочили из колеи?

25/XII-39

Вчера читала материалы газетные о Сталине. Очень гнусная статья П. Тычины в «Литературной газете». А мой этот самый стишок там отказались печатать. Очевидно, как пояснил Володя Л., — тоже не принявший стишка, — «не масштабно, не соответствует величию Сталина». Вот как раз и соответствует величию, еще большему, может быть, чем реальное величие, — величию людского представления о нем.

И вдруг мне захотелось написать Сталину об этом: о том, как относятся к нему в советской тюрьме. О, каким сиянием было там окружено его имя! Он был такой надеждой там для людей, это даже тогда, когда я начала думать, что «он все знает», что это «его вина», — я не позволяла себе отнимать у людей эту единственную надежду. Впрочем, как ни дико, я сама до сих пор не уверена, что «все знает», а чаще думаю, что он «не все знает». И вот начала письмо с тем, чтобы написать ему о М. Рымшан, Плотниковой, Ивановой, Абрамовой, Женьке Шабурашвили, — это честные, преданные люди, глубоко любящие его, а до сих пор — в тюрьме. И когда подошла к этому разделу — потухла, что ли. Додик писал Сталину о своем брате, о том, как его пытали, — ответа не получил. Рымшан писал тому же Ста-

лину о своей жене — ответа не получил. Помощи не получил. Ну, для чего же писать мне? Утешить самое себя сознанием своего благородства?

Потому что мысль о том, что я не написала до сих пор Сталину, мучит меня, как содеянная подлость, как соучастие в преступлении... Но я знаю — это бесполезно. Я имею массу примеров, когда люди тыкались во все места, и вплоть до Сталина, а «оно» шло само по себе — «идёт, идёт и придёт».

В общем, «псих ненормальный, не забывай, что ты в тюрьме...»

Боже мой! Лечиться, что ли? Ведь скоро 6 месяцев, как я на воле, а нет дня, нет ночи, чтобы я не думала о тюрьме, чтобы я не видела ее во сне... Да нет, это психоз, это, наверное, самая настоящая болезнь...

25/1-40

...Машу Рымшан осудили на 5 лет.. Все статьи сняли, осудили как «социально опасную». Это человек, отдавший всю жизнь партии. Мотивировок к осуждению нет даже юридически сколько-нибудь основательных. Произвол, беззаконие, и всё.

О, как подло.

Даже тот факт, что продолжают выпускать людей, не может снизить, убавить подлости осуждения Маши и ей подобных. Тем более должны были освободить. Не вся правда хуже, чем неправда. Не вся правда — двойной обман.

«Нами человечество протрезвляется, мы — его похмелье, мы — его боль родов», — писал Герцен в 1848 г. Может быть, время поставить под этими словами сегодняшнюю дату? Какой-то маленький светлый кусочек внутри, остаток безмерной веры — «Ключок рассвета мешает мне сделать это? Или трусость? Или инстинкт самосохранения?»

1/III-40

...Читаю Герцена с томящей завистью к людям его типа и XIX веку. О, как они были свободны. Как широки и чисты!

А я даже здесь, в дневнике (стыдно признаться), не записываю моих размышлений только потому, что мысль: «Это будет читать следователь» преследует меня. Тайна записанного сердца нарушена. Даже в эту область, в мысли, в душу, ворвались, нагадили, взломали, подобрали отмычки и фомки. Сам комиссар Гоглидзе искал за словами о Кирове, полными скорби и любви к Родине и Кирову, обоснований для обвинения меня в терроре. О, падло, падло.

А крючки, вопросы и подчеркивания в дневниках, которые сделал следователь? На самых высоких, самых горьких страницах!

Так и видно, как выкапывали «материал» для идиотских и позорных обвинений.

И вот эти измученные, загаженные дневники лежат у меня в столе. И что бы я ни писала теперь, так и кажется мне — вот это и это будет подчеркнуто тем же красным карандашом, со специальной целью — обвинить, очернить и законопатить, — и я спешу приписать что-нибудь объяснительное — «для следователя» — или руки опускаю, и молчишь, не предашь бумаге самое наболевшее, самое неясное для себя...

О, позор, позор, позор!.. И мне, и тебе! Нет! Не думать об этом! Но большей несвободы еще не было...

Писать свое — пьесу, рассказы...

Не думать, не думать об этом хотя бы пока... Все равно никуда не уйдешь от этих мыслей...

25/XII-40

Сегодня в клубе Эренбург, живший во Франции, в Париже — в дни его и ее разгрома, читал отрывки из романа «Падение Парижа» и стихи.

Отрывки — до жалости плохи и равнодушны. Стихи академичны, полумертвы (чем-то похожи на мои), но есть хорошие, с настоящей болью.

Я тихо и бесстрастно ужасалась: как далеко может идти профессионализм, что человек может СЕЙЧАС писать о разгроме Франции! Это так же дико, как если б художник, рисуя увечного, пытался приклеить на картину куски живого мяса. Но даже это не удалось ему: рассудочный сентиментализм. Нехорошо.

На вечер пришли Таня и Юра Прендели, Таня мне — все равно, а Юра занимает, и даже специфически. Уже некоторое время идет подводная игра, которая может окончиться бурным объятьем, если я того пожелаю.

Но я, по всем данным, не пожелаю этого. Юра — «не наш». Кроме того, меня раздражает его ущемленность по отношению ко мне и Кольке; в этом какая-то неискренность, искусственность отношения. Короче, они были там, и я отправила их домой, а сама навязалась на столик к Германам, жестоко презирая себя за это. Тем более что Юра Г. написал беспринципную, омерзительную во всех отношениях книжку о Дзержинском.

Он спекулянт, он деляга, нельзя так писать, и литературно это бесконечно плохо. Мне надо было сказать ему это, а не втираться к нему на столик.

Потом подсел Зонинс пошлым ухажерством, это было на глазах у Юрки, мне было неудобно, хотя и мелколестно (чего мне надо, и на что я надеюсь?!), и на вопрос Зонина я ответила, что да, читала его книгу и она мне очень понравилась, но книжки я почти не читала, только начало.

Потом я провожала Зонина до места его ночевки, были обрывки серьезного разговора (ох, сяду я за них, ни за что сяду!) и пошлого флирта на словах...

Все, что сберечь мне удалось,
Надежды веры и любви,
В одну молитву все слилось:
Переживи, переживи!

Зачем этот размен?! Это чисто внешне, души я ничуть не отдаю, но, м. б., и отдаю, и теряю.

Вот с Лидой Ч<уковской>сегодня был хороший разговор. И я постараюсь написать для хрестоматии хорошие рассказы.

Безвременье души, — вообще.

Была в Москве. Встречалась с Сережей. Это ничего не принесло на этот раз, кроме опустошения и тупой боли. Очевидно, потому что он меня вовсе не любит, даже не влюблен, а просто так.

13/III-41

Иудушка Головлев говорит накануне своего конца: «Но куда же всё делось? Где всё?»

Страшный, наивный этот вопрос все чаще, все больше звучит во мне. Оглядываюсь на прошедшие годы и ужасаюсь. Не только за свою жизнь. Где всё? Куда оно проваливается, в чем исчезает и, главное, — зачем, зачем?!

Перечитываю сейчас стихи Бориса Корнилова, — сколько в них силы и таланта! Он был моим первым мужчиной, моим мужем и отцом моего первого ребенка, Ирки.

Завтра ровно пять лет со дня ее смерти.

Борис в концлагере, а может быть, погиб.

Превосходное стихотворение «Соловьяха» было посвящено им Зинаиде Райх, он читал его у Мейерхольда. Мейерхольд, гениальный режиссер, был арестован и погиб в тюрьме. Райх зверски, загадочно убили через несколько дней после ареста Мейерхольда и хоронили тишком, и за гробом ее шел один человек.

Смерть, тюрьма, тюрьма, смерть...

На бездарном «Дон-Кихоте» в Александринке виде-ла сегодня Виктора Яблонского, с которым связано ощущение целого периода в жизни — знакомство с Горьким, ЛАПП, история с Авербахом. Горький умер. Л. Авербах расстрелян. Миша Чумандрин погиб на финской войне. Володя Эрлих в концлагере. Юрий Либединский разошелся с Муськой. Виктор очень постарел, — значит, и я так же страшно постарела...

Где всё?! Где всё?..

А Ирка, Ирка, господи... А эпилепсия Коли с 32 года? Где всё и зачем всё? И что же вместо того, что было когда-то? Какой наполненной жизнью жила я в 31 году. Сами заблуждения мои были от страстного, безусловного доверия к жизни и людям... Сколько силы было, веры, бесстрашия. Была Ирка, был здоровый Коля, было ощущение неисчерпанности, бесконечности жизни, была нерушимая убежденность в деле, в правильности всего, что делал... Где же, где всё?

26/III-41

Сегодня, в первый раз за довольно долгое время, у меня не тюкает в голове. Это громадное достижение. Уже не помню, но чуть ли не с десятого числа началась у меня отчаянная невралгия, такая, что я света не взвидела. Плотала всякую дрянь, и сейчас еще ем на ночь люминал и от дикой головной боли, от лекарств совершенно отупела. Все мысли и чувства ленивы и притуплены, все равно. Нет, еще рановато для маразма. Еще я должна написать роман, и выпустить хорошую книгу стихов, и увидеть на экране свой «Первороссийск», а потом уж пускай.

Сейчас я в Доме творчества, в Детском. В этом доме я дважды умирала: первый раз, когда пришла просить у Толстого машину, чтоб увезти Ирку в больницу. Я сказала Толстой: «Моя дочь умирает, дайте мне машину» — и по-